

Н. Н.
ЗЛАТОВРАТСКИЙ

Избранное



Николай Николаевич Златовратский

Город рабочих

«— А ведь здесь, действительно, хорошо у вас! Как хотите, а я начинаю не доверять вам. Судя по тому, как вы расписывали свою «милую родину», я не ожидал вступить в нее в таком хорошем настроении, — сказал я одному из своих спутников, хмурому, насупившемуся черноватому молодому человеку...»

Содержание

I.....	.0005
II.....	.0011
III.....	.0030
IV.....	.0047
V.....	.0059
VI.....	.0071
VII.....	.0077
VIII.....	.0080
IX.....	.0081

**Николай Николаевич
Златовратский
Город рабочих[1]**

— **А** ведь здесь, действительно, хорошо у вас! Как хотите, а я начинаю не доверять вам. Судя по тому, как вы расписывали свою «милую родину», я не ожидал вступить в нее в таком хорошем настроении, — сказал я одному из своих спутников, хмурому, насупившемуся черноватому молодому человеку.

Мы переправлялись на тяжелом дощанике [2] через большую реку.

— Да, природа — ничего, жить можно. А вот посмотрим, что-то вы скажете после, когда увидите нашего «царя природы», — сурово отвечал мой сосед.

— Конечно, если вы будете смотреть на все глазами этого буквоеда, насквозь прогноенного бурсой, то лучше вам вернуться назад, — нетерпеливо перебил другой мой спутник, белокурый молодчина, с русою, только что пробивающейся бородкой по широкому подбородку. — Я уверен, что, вместо этих берегов, которые еще вас, слава богу, восхищают, он видит одно бесконечное кладбище, уставленное крестами; вместо вон тех живых людей,

которые там копошатся в горе, в алебастровых копиях, он видит сухие, заскорузлые формулы и производит над ними какие-нибудь отвлеченные вычисления. Нет, право, если вы так же... право, лучше не ездите, лучше вернитесь назад, потому что все, что вы после скажете, будет не то.

Хмурый молодой человек только что-то промычал в ответ на эту реплику, а я улыбнулся.

Нас было трое, исключая перевозчика, который мало интересовался нами: я, хмурый брюнет, готовившийся сдавать экзамен на кандидата, и кудрявый коренастый мужчина, когда-то сбежавший с последних курсов бурсы в народные учителя. Первый, Попов, был сын священника; второй, Полянкин, сын крестьянина.

Так как эти контры и пререкания между моими спутниками, органически, казалось, им присущие, были мне давно знакомы, то я мог не особенно тревожиться ими и продолжать любоваться прелестью летнего вечера на реке.

Заходящее солнце вкось обливало реку це-

лым потоком ласкающих лучей, которые, удаляясь в правый берег, постоянно играли на нем разнообразными переливами света и теней: вот сейчас заросшее дубняком ущелье в скалистом берегу казалось погруженным во мрак, темное, дикое, а через минуту все оно сверкало яркой зеленью с золотистым отливом, все радостное, веселое, светлое. Мы оглябали крутой выступ, когда Полянкин сказал мне:

— Ну, приготовьтесь... Вот сейчас вы увидите нечто такое, что уж, конечно, не думали встретить на какой-нибудь речонке в Великой-россии. Вам, конечно, по меньшей мере нужен Кавказ или Швейцария. Тогда ваше восхищение не будет иметь границ только потому, что все это давно воспето в стихах и прозе... Ну-с, что же, плохо? — волновался мой экспансивный друг, переводя глазами с расстилавшейся перед нами изумительно прекрасной дали на мое лицо.

— Да, хорошо. Ведь уж я сказал, что хорошо, — отвечал я.

— Сказал! Но ведь как сказать... Этого мало. Надо почувствовать всем сердцем. Надо...

надо полюбить! Вот когда не будет лжи, — говорил он, очевидно, адресуя свои замечания к нашему хмурому спутнику. — Впрочем, и то сказать, как полюбить!

Полянкин совсем расходился: сильный, коренастый, но живой, впечатлительный, он махал руками, двигая взад и вперед ногами и туловищем, снимал фуражку и ерошил волосы; лодка постоянно рисковала хлебнуть воды. Но Попов хладнокровно от времени до времени откашливался с недовольным мычанием.

— А вот и *вечевой град* наш, — проговорил он с очевидной иронией в голосе. — Рекомендую полюбоваться. Некоторым образом идеал, уже воплощенный в действительности.

— Ну что же? Конечно, *вечевой*[3], — нетерпеливо опять перебил Полянкин, — но это, прежде всего, город рабочих.

— Поучительное явление. Есть над чем подумать, — продолжал Попов.

— Вот это верно, что поучиться есть чему, потому что и в малой капле вод отражается небо. Я против этого ни слова. Но только ведь не всякому внуку на пользу наука, — заметил

Полянкин.

Пока мои приятели перекорялись, я в изумлении смотрел на открывшуюся передо мной картину. Это было нечто очень своеобразное: направо лежала бесконечная зеленая пойма, по краям которой оазисами мелькали или группы деревьев, или белые церкви, или ближе к реке кучки изб на высоких столбах, вроде свайных построек, — это были сельские конторы или лесопилки. Весь плоский песчаный берег уложен смолистыми плотами. Влево, напротив, почти на четверть версты, тянулась высокая и совершенно отвесная скалистая стена, в которую бились тихие волны и в которую теперь ударяли косые солнечные лучи. Вся стена была вдоль прорезана разноцветными поясами пластов: белый алебастровый слой сменялся красной глиной, желтым песком. Контраст этой стены с зеленой равниной поймы и серебряною далью реки был поразителен и оригинален.

И вот наверху этой стены был перед нами *город рабочих*: кресты высоких причудливых колоколен и церквей, стены каменных домов и маленьких лачуг, лепившихся по скатам

холмов, зеленая листва садов — все это ярко искрилось золотистым светом от закатывавшегося за поймой солнца.

Внизу, там, где отвесную стену берега прерывает глубокая ложбина оврага, составляющая единственный путь из города к реке, стоял у пристани пароход, запасавшийся дровами.

Мы пристали около этого же места и стали подниматься в город по избитой, расщепавшейся бревенчатой мостовой.

Городрабочих, как называл наш спутник — «сын народа», собственно не был город: это было большое промышленное село, с десяти-тысячным рабочим населением, с обычным крестьянским самоуправлением[4], и представляло собою скорее сконцентрированную в одно селение целую *волость*, чем село; при том же от обычного представления о селе его отличало то, что среди этих 10 тысяч рабочих не было ни одного занимавшегося земледелием, хотя все село получило обыкновенный надел, «по душам», впрочем, в очень незначительном размере. Издавна, чуть не столетие назад, здешний рабочий сделался кустарем-ремесленником стальных изделий, и так как основная и самая большая часть населения состояла именно из этих самостоятельных кустарей-рабочих, равноправных граждан в своем населении, то мы и оставим за этим последним название *города рабочих*.

Да, это был, действительно, город рабочих. Едва мы выбрались из ложбины оврага и поднялись на гору, как нас сразу охватила та осо-

бая характерная атмосфера, которая свойственна мастерской: визжанье напилков, стук молотков, лязганье железных полос, шипенье колес у станков. Это был звенящий шум целой армии гигантских кузнечиков, и, что изумительнее всего, этот гул точно так же исходил неведомо откуда: вы слышали его справа, слева, сзади, из густой чащи зелени. Мы переходили целый ряд часто пересекающихся пыльных переулков, замечательно похожих одни на другие: по обе стороны стояли трехконные, с тесовыми крышами, иногда двухэтажные, на городской манер, домики, с обязательными почти занавесками (белыми или разноцветными на окнах), с горшками гераней и фуксий, с длинными заборами, оберегавшими зеленые садики, из густой чащи которых, казалось, и неслись эти сплошные звенящие звуки. Это и были дома кустарей. В каждом из них, в нижних этажах или в задних пристройках, были собственные мастерские, в которых и работала вся семья хозяина. Мы почти никого не встретили на улицах в этот час, разве иногда пожилая женщина в ситцевом домашнем платье, с озабоченным

лицом, выглянет в ворота с ведром в руках, взглянет на солнце и скроется опять, или вдруг выскочит прямо из окошка мастерской чумазый, закоптелый, с ремешком на голове, с открытым воротом на черной груди мальчуган лет 7–8, швырнет мимоходом камнем в стаю воробьев, пронесется, подпрыгивая на одну ногу, мимо нас и через две минуты уже скачет назад от соседа с напилком или молотком, да изредка лениво потягивавшиеся псы у ворот хрипло таякали на нас, прищуривая глаза. Было как-то особенно торжественно-пустынно в этой мирной трудовой обители. Кругом не виднелось пока ни высоких фабричных труб с гнетущими корпусами-острогами, со зловещим свистом — этою эмблемой каторжного, подневольного труда. Это была окраина — часть города рабочих, населенная коренным кустарем-хозяином.

— А вот и наша *храмина*, — сказал Полянкин. — Вон, вишь ты, и батька как раз проветриваться вышел.

Влево, у двухэтажного трехконного домика, с зелеными ставнями и большим густовистым вязом сзади, показалась высокая, ко-

ренастая, голая по самый пояс, в одних камло-
товых шароварах, бородатая и лысая фигура.
Уперев одну руку колесом в бок, а другой за-
слоняя от солнца глаза, она вглядывалась
пристально в нас.

— Здравствуй, — сказал Полянкин отцу,
подходя к нему и пожимая его мускулистую
широкую ладонь. — Вот гостей веду...

— Добре, добре, — ласково говорил старик,
по очереди каждому из нас подавая руку,
предварительно вытерев ее о грязный суро-
вый фартук. — Милости просим. Кстати, глав-
ное дело... Мы уже зашабашить хотим. Разве
вот еще полчасика, пока мать самовар стано-
вит. Проходите-с в *парадную*, пожалуйста. Ме-
ня уж извините, что я, значит, как бы совсем
без мундира, — прибавил он, хлопая широкой
ладонью по здоровой, мускулистой голой гру-
ди. — Что сделаешь, обиход рабочий... Мы
так-то все, не то что летом, а и зимой щеголя-
ем... Пожалуйте-с.

Прежде чем идти в «парадную», мы, одна-
ко, сначала спустились в мастерскую. В ней
усиленно работало несколько человек, боль-
ших и малых, очевидно торопясь поскорее за-

кончить дневной урок. Мужчины почти все были голы по пояс, как и хозяин; ребятишки всех возрастов были чумазы и черны, как галчата, и сквозь копоть на их лицах бойко сверкали только синеватые белки глаз. Две молодые женщины и одна девушка-подросток работали в стороне, покрывая сделанные вещи олифой. Мастерская исключительно делала замки, и притом замки не больше как двух-трех типов, самых дешевых и обиходных. Все части замка делались «от руки»: кто выпиливал дужки, кто стенки, кто сверлил ключи. Таких частей, наделанных за неделю, лежали целые кучи около каждого мастера. Легко можно себе представить, как быстро должна была готовиться каждая часть и сколько их нужно было сделать, если сказать, что готовый такой замок покупается в лавках за 5-10 коп. (а ведь замок, как бы он прост ни был, все же механизм сложный), кустарь же сбывает их скупщикам за 15-20 коп. дюжину. Эти цифры могут служить типичным указателем всех вообще экономических норм, установившихся в «городе рабочих»: они укажут, сколько должен сработать, например, замков ку-

старь в день, чтобы пропитать семью (в периоды промышленных кризисов, когда цены падают еще ниже, часто семья всю неделю работает с раннего утра до глубокой ночи, едва зарабатывая пропитание), как велика должна быть скорость рук в приготовлении каждой части без всякой почти помощи машин.

Из рабочих мужчин один был старший сын хозяина, уже женатый, другой — брат, холостой, двое — рабочие по найму; из женщин одна была жена сына, другая вдова после умершего брата; мелкота же — все были хозяйские дети. Молодой Полянкин наскоро и весело поздоровался со всеми и стал нам показывать разные способы приготовления замков. Он по очереди становился на место того или другого из мастеров, чтобы показать, что он не забыл ни одной отрасли родовой работы.

Он оказался, действительно, мастером на все руки, что было очевидно из молчаливо поощрительных улыбок мастеров, которые передавали ему инструмент.

— Погодите, братцы, только еще денька три: вздохну малость после экзаменов и тогда

уж заправски стану с вами, — сказал Полянкин и перекрестился в подтверждение своих слов, — вот, ей-богу же, не надую!.. То есть так, братцы, хочется руками поработать... просто до зуда. Всю зиму ни за что не брался, разве что дрова рубил.

— Поди, как отец тогда тебя расхвалит. Но не же обороты-то у нас не хвали, — отвечали мастера.

— Верно, встану. На все лето. Только вот со своими господами немножечко пожуирую *по этой части*, — иронически подмигнул он на нас, повертев пальцем около лба.

— Ну, проходите сюда, Павел. Не смущайте там народ-то! — крикнул сверху хозяин.

Мы вошли в «парадную». Старик уж «зашабашил по случаю гостей», как заявил он, умылся и надел старенький камлотовый пиджак. В парадной половине, действительно, все было «парадно»: на окнах коленкоровые занавески и горшки с цветами; по стенам старенькие плетеные стулья; столик, покрытый вязаной скатертью, комод с посудой, часы с кукушкой, керосиновая лампа с абажуром из папиросной бумаги и, наконец, в углу кро-

вать за большим ситцевым пологом со сборками. Все чистенько, простенько, по-мещански и по-домостроевски. По-домостроевски, сановито и степенно строго держал себя и старик; по-домостроевски нес он звание хозяина, отца, мужа и владыки очага, сурово покрикивая на свою жену, сухую, пожилую и добрую женщину, хлопотавшую около самовара и все конфузившуюся незнакомых людей, несмотря на свои пятьдесят лет; поглощенная хлопотами, она даже и с сыном не нашла времени или боялась «при других» поздороваться; сын, впрочем, скоро опять убежал вниз, оставив нас со стариком.

— Видели наше поселенье, проходили? — спросил старик, начиная с великим удовольствием всхлебывать с блюдечка чай.

— Нет, еще мало, только с реки вид хорош.

— Хорош?.. Ведь город, а?.. Совсем город! Собор, семь церквей... Собор не видали?.. У нас насчет божественного радетели есть... Везде певчие, дьякона на выбор... У нас это хорошо, есть за что похвалить... Город ведь, а? Совсем город? — переспросил старик с видимым удовольствием.

— Постоит еще другого города.

— Постоит!.. У нас уж кое у кого из богатеев есть это помышление, чтоб, значит, вполне на городское положение перейти. И записку уж в сенат подавали... Подавали, слышно было...

— Что же, вам нравится это?

— Нет, нам не нравится. Да к чему? Для нас так-то больше чести: вишь ты, село, деревня мужицкая, а еще почище другого города будет! Мы и так, значит, на городском счету, — чего ж еще? Да ведь кабы улучшение от этого какого ждать...

— А вы не ожидаете?

— Нет. Это ведь богатейская забава... Пользы нельзя ожидать... Отказали, — да, отказали... И лучше, пожалуй, — серьезно говорил старик, во что-то вдумываясь. — Так думать надо, что этой затее все *сам* же препону положил.

— Кто же это *сам*?

— *Сам*-то? — улыбнулся хитро старик. — Не знаете? Державу-то нашу? Это у нас Петр Бессменный, голова нашим дурацким головам... Это будет Петинька-кормилец, Петинь-

ка — отец наш родной... Вот кто он у нас, *сам-то!* Слава богу, вот двенадцать, должно быть, уж годков за ним, что у Христа за пазухой, проживаем... Да!

Старик как-то особенно хитро и двусмысленно вел весь этот рассказ про старшину.

— Полюбили уж очень вы его, — заметил мой хмурый спутник с обычной иронией.

— Полюбили? Полюбишь!.. Полюбишь, брат!.. Да. Вот он и такой, и сякой, а вот двенадцать годочков бессменно на своем положении стоит, и никакой такой силы нет, чтобы его снизвести... О, о!.. Нет, тут, брат, подумаешь снизвести-то его... Вот ты и гляди... И вор-то Петинька, и мошенник, и мироед, и притеснитель, — всяко про Петиньку говорят, а вот снизвести не могут... Кто ни пытался его снизвести: и губернаторы, и прокуроры, и всякие члены, и чины, — одни наши богатеи сколько хлопот и денег на это самое дело ухлопали, а где теперь эти губернаторы, и прокуроры, и всякие чины? Про них только сказки остались, а Петинька Шалаев все при нас державу держит... Так-то, милейший человек, вот ты ученый человек, а как скажешь

на это? Нужно на этакое дело ума али не нужно? — спросил старик не без тайного ехидства Попова, которого он, по-видимому, знал хорошо.

Попов только повернулся на стуле и сердито молчал.

— Так это он, говорите вы, против городского положения идет?

— Кому же больше? Никто, как он. Ведь он кем жив? Нами, простым народом. Тут вся и жисть его, что в нас... Голодным народом жив, вот кем!.. А на городском положении ему сейчас смерть! Потому на городском положении вся сила в богачее... Бедному просто-му человеку там делать уж будет нечего... Ну, без бедного человека и Петиньке смерть. Тут ему и конец. Так тут, хочешь не хочешь, и нас полюбишь. Вот он нас и любит, а мы его своей любовью не покидаем. Так у нас и идет вкруговую... по любви... И живем еще как ни то... Вот у нас чем люди-то живы! Хе-хе-хе!

И старик засмеялся каким-то странным, сухим смехом.

— Это возмутительно! — вдруг вскакивая в волнении со стула, заговорил Попов, обраща-

ясь ко мне одному. — Вы только представьте себе: мироед, который никому вздоху не дает, который расходует все общественные деньги без всякого контроля: самый этот контроль делается немыслим, потому что их пресловутое *вече* — это не больше, как двухтысячное стадо баранов, из которых половина этим *самим* закуплена, запоена, задобрена, а другая — запугана, задавлена. Ведь здесь нельзя слова свободного сказать, потому что завтра же, кто осмелится только не согласиться с этим *самим*, будет отправлен туда, куда Маркар телят не гоняет. Ведь это... это один ужас!.. А вот они все так здесь с смешком да с ужимочкой говорят... А ведь вы только одно представьте, что здесь на десятитысячное рабочее население одно училище, больница только на три койки и больше никаких общественных заведений безусловно: ни библиотеки, ни технических музеев или училищ, ни театра. Вы книги, самой пустейшей книжонки ни у кого не встретите! Вот вам и «город рабочих»!.. Вече!..

Попов еще волновался, а старик все не переставал смеяться. Но потом он вдруг сделал-

ся серьезен и даже суров, сдвинув густые белые брови и набрав морщины на лбу.

— Это верно, верно, все верно, — заговорил он, покачивая головой, — вот до чего довели! Беда, разврат народу совсем! На глазах вот, так и видим, как народ портится. *Патъи* [5] этой с каждым годом все больше да больше, этого самого обнищалого народа. Да и нельзя иначе... Нельзя.

Старик замолчал, сокрушенно опять покачивая головой. В это время вошли брат и сыновья, все уже обмывшиеся и принарядившиеся, и стали усаживаться вместе с нами за стол.

— Вы о чем? — спросил молодой Полянкин. — Успели уж, чай, поспорить?

— А вот о чем! — сказал старик, вскочив с места и сурово обращаясь к Попову. — Ты вот видишь эти дома-то на горе? — показал он в окно. — Видишь? А были бы они у рабочего или нет, спрашиваю я тебя? Вот он, видишь, новенький, и чистый, и просторный: есть где голову преклонить... Были, я тебя спрашиваю, у нас эти пристанища, как вот в третьем году триста дворов снесло пожаром, а?.. То-то вот...

Кто в Петербург-то ездил да выхлопотал полтораста тысяч на погорелую братью, а?

— Да из них себе в карман пятьдесят тысяч положил, — заметил вскользь Попов.

— Ну, это мы того... Оставим эту расценку... Это бог знает. А ты вот скажи, кто ездил? — Петр Шалаев ездил, да! Ты вот об этом подумай... А? Им это не по губе, должно... Не по губе, что Петр Шалаев с нас подати скостил да на *них* переложил, на дворцы-то ихние. Не по губе им, разбойникам... Городовое положение!.. Мало они из нас крови-то пьют... Мало еще, дворцов-то понастроивши да брюхо-то распустивши! Старик совсем расхотелся: он стучал кулаком по столу, махал руками и сверкал на Попова сердитыми глазами.

— Да уж не хуже было бы: по крайности, хотя бы школы вам завели, больницы, богадельни были бы, грязь-то невылазную с улицы убрали, да и грабежа-то бы не было...

— Не было бы? По головке бы стали нас гладить? Да, друг ты мой, ведь только на них и грозы-то, что Петр Шалаев! А уж мы все ими до сердца проклеваны... вот как, до самой пе-

ченки проклеваны этим вороньем-то! Ты вот видел, какую мы уйму за неделю наработали, по 18 часов спины не разгибая? А что вот я послезавтра, как, господи благослови, потащу все это на ряды, — что я за это получу, а? Ты вот видишь замок-то, видишь? Ведь его сделать надо! Ведь это не гвоздь, что раз молотком ударил — и готово! А ведь скупщик мне за него *моей* цены только полцены даст, *моей*! Да и то еще покланяешься ему в пояс, чтобы взял, да и то еще половину деньгами-то только, а то поди-ка у него другую-то половину из его лабаза харчами выбери, да по той цене, по какой его голова назначит! А ведь, друг ты мой, вот у меня сколько народу-то, — ведь нам пить-есть надо... Ведь я вот дому хозяин, большая голова, ведь вот посчитай-ка, сколько много вокруг меня теперь народу-то: ведь у меня, с малыми-то, их двенадцать душ... Друг-ут!.. Ведь все на мне взыщется, все, и на этом свете, и на том!..

— Это верно, — заметил опять хмуро Попов, — только чего же огулом-то всех в яму валить? И из *них* есть люди.

— Кто это?

— Да вот хоть бы Струков.

— Это Валериан-то Петров? Лукожуй он, Валериан-то Петров твой.

— Этого не доставало! Человек за них душу положил, весь свой век, до пятидесяти лет, все для них хлопотал... Вы представьте, — обратился опять в негодовании ко мне Попов. — Вы только представьте, что переиспытал, перенес этот человек для своих односельчан: разорился, несколько раз был облыжно отдан под суд, сидел по тюрьмам, в холодных. Это какая-то воплощенная энергия, беззаветность, незлобивость и любовь!.. И за все за это вот ему благодарность... И он знает это, давно знает и — все же хлопочет за них.

— Ха-ха-ха! — засмеялся старик, у которого уже давно разгладились морщины и переменилось настроение. — Ха-ха-ха! Лукожуй... Потому он и лукожуй, что как ни верти, а он все ихней стаи. От своей крови не уйдешь... Нет, за ними, брат, присматривай в оба... Свои собаки дерутся, чужая тоже опасайся пристать.

— Что же он такое делал для них?

— А кто на городское положение тянет? А кто всю эту музыку-то поднял? Кто говорит,

что без *них* нам и житья не будет, пропадом пропадем, а?.. То-то вот... Нет, оно, брат, тут в оба присматривай...

— Ну, полно тебе расценивать-то, — заметил наконец весело молодой Полянкин, хлопав любовно рукой отцовскую спину. — Так нам расценивать нельзя. Зачем всех в одну кадку валить? Ты бери то, что хорошо, везде; нам нужно только свою линию вести, вот что!.. А Петр-то Шалаев из каких? Разве он не из них? На него какие надежды? Разве он не такой же *скупщик*, как и те? Разве он на ваши-то кровные изделия своих клейм не кладет? Разве он не нахватал себе вашими руками *орлов*-то? А какие у нас сходы? Чем они держатся? — Обманом... Все приговоры подписываются под страхом.

— Да, конечно... что — Шалаев! Петр-то Шалаев еще почище их всех будет, — задумчиво произнес старик.

— Почище еще, пожалуй, почище, — сказал и брат Полянкина.

— То-то и есть. Нам, брат, свою линию надо не терять: хорошо — бери, плохо — не надо.

— Ох, да, да, — вздохнул старик, — тоже,

брат, нашу-то линию не вот найдешь... Тоже, брат, из нас всякий есть: один говорит — вот она, наша-то линия, другой — на другую гнет... О, господи создатель!.. Все, должно, плохи... Всем, должно, перед господом отвечать придется.

— А ты, батька, гляди веселей... Не бойсь, не унывай только; все мы свою линию найдем... Поплотнее нам надо только — вот что... Только бы солнышко просветило... А то в себя вера потемнела — вот что, в себя перестали верить... Это хуже всего. А Валерьян Петрович — хороший человек, и обижать его нечего... — Да ведь разве я не знаю? Только на что он лукожуйничает?.. А лукожуй, старый хрен, большой лукожуй!.. Ха-ха-ха!.. Ну, да ладно... Бросим это! Будет! Пойдем-ка разгуляться в садочек... Эх, время-то хорошее стоит!.. Запахи теперь у меня там разные: сирень, жасмин белый... Пойдем! А пущай здесь женский пол уж на свободе чай пьет... Мы ведь женский пол строго держим, по-старинному... У нас оне чужого народу стесняются... Этих модных повадок не имеют... У нас девушка — вот у окошечка посиди, в теремке, за занавесочкой,

да на молодежь-то, что по улице ходит, только в щелочку погляди али вот в праздник на раскат, на гору сходи с матерью да степенно маленечко на реку полюбуйся, да и домой... Мы по-старинному живем!

Так долго рассказывал старик, пока мы ходили по его «садочку» с десятком захудалых и старых яблонь и кустов, за которыми он, однако, с особою любовью ухаживал. В «садочке» старика Полянкина так было хорошо, уютно, так душисто; так мягко и густо зарастила кругом сочная трава, так весело и безмятежно глядело на нас чистое лазурное небо, что мы совсем забыли, что хотели идти смотреть город, и провалялись на траве до полных сумерек. Отложив осмотр города на утро, мы ночью, вместе с дядей и братишкой молодого Полянкина, ушли на реку ловить рыбу. Наша великорусская, немножко сыроватая, но мягкая и нежная ночь окутала нас своими объятиями, как нежная мать, и нам так хорошо было в эти мгновения чувствовать, как убаюкивала она в нас тревожные дневные заботы и думы.

Представьте себе такую картину: кривые, неправильные, перепутавшиеся, как клубок ниток, улицы, кое-где мощенные булыжником или бревнами, а чаще пыльные и грязные, и на них странную смесь архитектурных стилей: тут выпятился старинный терем из темного кирпича с позеленевшими стеклами и высокой, поросшей травой и плесенью остроконечной деревянной крышей; за ним спрятались два-три небольших домика — новеньких, чистеньких, веселых; здесь жеманно и, очевидно, рисуясь, выдвигается красивым палисадником, с вычурной разноцветной решеткой, с фигурными воротами, каменный, двух— или трехэтажный дом новомосковского типа, со всеми признаками современной культурности, с богатыми драпри [6] в окнах, с изящными антре[7] и ярко-зеленою железною кровлей с трубами, украшенными прихотливыми колпаками; дальше — длинное, мрачное, с клочками грязной, давно облупившейся штукатурки, с окнами, напоминающими старинные бойницы, фабричное

здание, потом какой-нибудь полуразрушенный плетень, охраняющий огород, и затем опять новенькое палаццо какого-нибудь только что оперившегося молодого богача, «тронувшего» тятенькины капиталы; торговая площадь, на которой никогда не просыхает грязь, со свободно бродящими по ней свиньями; вонючие, скучившиеся торговые ряды с деревянными навесами и потом опять что-нибудь в «своем собственном вкусе», вроде, например, хором, представляющих собой не то масленичный балаган, с мачтами, флагами и разноцветными узорами по карнизу, не то уродливый павильон в русском стиле, притащенный прямо с выставки. Такова центральная «богатая» часть города рабочих.

Было утро воскресенья, и мы имели удовольствие видеть сразу обывателей всех родов и типов: степенными группами выползали они из переулков, из домов, направляясь к церквам. Густой звон колоколов, видимо доставлявший всем обывателям особое удовольствие, блеск солнца, бородатые и массивные священники, и дьяконы в летних ярко-цветных рясах, и разнообразная смесь костюмов,

начиная от широких старомодных цилиндров стариков, в длиннополых двубортных сюртуках, и кончая пиджаком молодого приказчика с молодой женой, тащившей сзади какие-то изумительные пристройки на своем платье, — все это вместе взятое производило странное впечатление какой-то удивительной кунсткамеры: на протяжении каких-нибудь сотни сажен вы несколько раз переноситесь от современной цивилизации к XVII или даже к XVI столетию.

— А вот и *вечевая* площадь, — иронически сказал Попов, когда мы переходили не особенно большой пустырь, пыльный, изрытый ямами и едва просохшими лужами, окруженный потемневшими кирпичными и деревянными старыми зданиями, занятыми трактирами и лабазами; в одном из домов помещалось «правление», или местная ратуша, центр всего местного самоуправления.

Признаться сказать, грустное впечатление произвел на меня этот форум, и я тщетно силился представить себе величавую картину схода из двух тысяч полноправных граждан-рабочих — все так пахло кругом базаром,

трактиром, домостроем, лавкой.

— Вы разочаровались? — спросил меня, улыбаясь, Полянкин, заглядывая мне в глаза. — Признаюсь, я сам не люблю это место или, лучше сказать, всю эту часть города... Каким-то извращением несет от всего, что здесь... Как будто здесь все силится именно извратить, опаскудить, омерзить... Пойдемте отсюда... опять в наши окраины. К Струкову теперь рано. Он, как и всякий из здешних коренников, теперь, наверное, у обедни. Струков в самые бурные моменты нашей общественной борьбы никогда не пропустил ни одной службы: поет на клиросе[8], раздувает кадило[9] и пр. И ведь нашлись наглецы, которые не задумались оговорить его в нигилизме. Один губернатор так и принял его в этом ранге и даже большое поучение на этот счет сказал старику.

Поднимаясь с холма на холм, на которых расположен был город рабочих, мы скоро опять вступили в заросшие зеленью окраины, окружавшие кольцом центральную часть города. Но далеко не все окраины производили впечатление той домовитости, которая так

приятно удивила меня в усадьбе старика Полянкина. Все чаще и чаще бросались в глаза несомненные признаки упадка и разложения, и именно упадка. В то время как центральная часть города, очевидно, была на прогресс, — здесь, напротив, все бледнело, дряхлело; трехэтажные домики все чаще сменялись лачужками, да и самые эти домики, с их садочками, скорее говорили о своей прежней домовитости, чем о настоящей... А вот и пресловутая *патья* с своими голыми лачугами, почти вросшими в землю, напоминающая бедные пригородные мещанские слободы, с хилыми, оборванными ребятишками у ворот, с хозяином в изодранной рубахе, с подбитыми глазами и бумажной сигареткой в зубах, нечесаным, грязным, пьяным, которого уже не привлекали ни колокола, ни концерты певчих, ни басы дьяконов, ни самое *вече*.

— Вот Струков все о городовом положении мечтает, — заметил Полянкин, — а мы фактически довольно давно уж на городовом положении стоим. Ну, вот вам и терем нашего старика, — показал Полянкин на дряхлый, древний длинный дом, когда мы снова по криво-

му и узкому проулку повернули от окраин к центру.

Мы вошли.

Чуть не в дверях нас встретил сам хозяин, седой старичок с длинною бородой, живой, с умными, добрыми, но зоркими, быстрыми глазами, с крутою грудью и с характерным лбом, в каком-то длинном старомодном пальто нараспашку, из-под которого виднелась красная рубашка и широкие помочи, высоко подтянувшие серые камлотовые шаровары такой необычной ширины, что в любую половину их можно было запрятать по большому подростку.

— Милости прошу! — вскрикнул Валериан Петрович самым гостеприимным тоном. — Ждали, ждали!...

— Как так? — изумился я.

— Да ведь слухами земля полнится... Слышал, что вы в нашей округе гуляете... Ну, как же нас проехать, помилуйте!.. Этого никогда не бывало! Ведь мы хоть и мужики, а тоже и нас люди навещали... Вот здесь, в этой комнате, этого кресла никто не минул... Прошу и вас не миновать его: присядьте! Вы, может,

скажете: ишь, расхвастался старик!.. Ха-ха-ха!.. А дело-то просто-с: вчера вот я с Павлом-то Павлычем встретился, он мне и сообщил, а я его просил, чтобы ко мне безотменно... Да, батюшка, полюбил я образованного человека, люблю! В двадцать-то лет, благодаря господу, немало я из них хороших знакомых приобрел... И они меня любили... Ей-богу, любили!

И старик Струков, действительно, пересчитал массу известных имен, из которых одних литераторов была целая половина.

— Да-с, много за двадцать лет всего видел: в Питере сколько раз бывал, в Москве... Столько большого народа видел, что от одного воображения голова может кругом пойти! Ха-ха-ха!

— Все в качестве народного ходока?

— Да-с, все воюю... С самых шестидесятых годов-с... с тех пор, как с барином из-за земли дело начали... Прыти-то мы тогда сколько набрались! Думали, что нам и сам черт не брат, да!.. — И Валериан Петрович с мельчайшими и обстоятельнейшими деталями, увлекаясь и махая руками, целыми пачками таская ка-

кие-то справки и документы, буквально целый час рассказывал свои похождения в качестве ходока. Это была история, длившаяся около десяти лет.

Первый период этой истории был всецело занят тяжбой с помещиком из-за наделной земли и разных оброчных статей; но когда эта тяжба закончилась наконец мировой сделкой и «ходоки», принадлежавшие все к зажиточному классу, готовы были пожать лавры своей полезной деятельности, наступил второй период этой поучительной истории. Дело в том, что среди ходоков сказался раскол: одни из них «отшатнулись» и повели «другую политику», стараясь дискредитировать всю деятельность своих товарищей в глазах рабочего населения, захватив власть в свои руки.

— Ну, и что же в конце концов? Как теперь ваши дела? — спросил я, признаться сказать, не без тайного намерения хоть несколько умерить наивную болтливость старика, тем более что вся эта история была мне, в общих чертах, хорошо знакома.

При моем несколько неожиданном вопро-

се старик как будто растерялся. Он вдруг переменил тон, лицо его приняло, вместо оживленного, какое-то грустно-меланхолическое выражение. Он развел руками и тихо сказал:

— Плохо-с!.. Очень плохо-с!.. Не ожидал я, знаете, после стольких, можно сказать, триумфов так закончить свою карьеру жизни!.. Не ожидал-с, признаюсь вам...

— Что же так?

— Разорен, ошельмован пред высшими и низшими, сделался жертвой недоверия... И это после двадцати лет!.. Как хотите, упал духом... Нет, больше не могу... Да и невозможно-с, невозможно!.. В конце карьеры жизни стал не больше как притчей во языцех, жертвой насмешек... зовут сумасшедшим!..

— Полноте, вы преувеличиваете.

— Нет, нет, не говорите...

— Вы потеряли веру...

— Нет-с, не то что веру потерял, а обидно-с, вот что!.. Обидно!.. Все — и сверху, и снизу, кругом от мала до велика — кричат, что мы бунтовщики, баламуты, скупщики, что мы только о себе все время заботились, что, наконец, даже очевидное приобретение наше для

народа (хотя бы одну землю взять, которую мы выхлопотали) и то, говорят, только разор принесло, убыток!.. И ведь в газетах пишут, книги об этом печатают... Все против нас!.. Нет, это что же-с?.. С каким же утешением умереть?.. Какой же это смысл в своей жизни найдешь?.. А ведь это вздор-с, ложь, обида, клевета... Я не умру, пока не разъясню все это, не докажу документами, цифрами... Все объясню, всю правду-матку открою, кто нас ошельмовал, какие иуды погубили и губят народ... Я сто печатных листов напишу, а уж разъясню!.. У меня уж много написано, я ночей не буду спать, а всю правду выведу!.. Нельзя так издеваться над людьми!.. Что они с нами сделали?.. Ведь они убили мир и согласие в нашем населении.

Валериан Петрович, взволнованный и раздосадованный, бегал по комнате, горячился: отрадно было смотреть на старика, сохранившего так много неиссякаемой энергии и жизни, несмотря на почти детскую наивность его сетований и упований. Пока Валериан Петрович говорил, мы и не заметили, как вошел тоже старичок, также в длинном двубортном

сюртуке нараспашку, и тихо, ни с кем не раскланиваясь, уселся в уголке, меланхолически покачивая головой и улыбаясь на старика Струкова.

— Все петушится! — сказал он, подмигнув на Струкова старушке, вошедшей с большим подносом, уставленным стаканами с чаем, водкой и закуской.

— Господь с ним, — сказала старушка, — я ему никогда не перечила, никогда поперек дороги не стояла... Худого от него никому не было.

— Вот, вот моя старушка правду говорит! — вскрикнул Струков, обнимая свою неизменную спутницу в жизни. — Вот она моя неизменная! Что древняя княгиня: проводит князя на битву и сидит себе в тереме да богу за него молится... А приедет князь с войны, она его утешит и успокоит и дух в нем поддержит!.. И опять он бодр!.. Да, никогда от нее слова супротивного не слышал... А уж чего-чего не претерпели с ней!.. А это вот другой старинный, друг и приятель, — показал он на старичка.

— Так-то все так, Валериан Петрович, —

сказал старичок, — а пора бы нам с тобой утомониться. Право, лучше.

— Почему так?

— А потому смерть нам идет.

— Ну, это еще когда будет!

— Идет, идет... Только вот ты не хочешь видеть... А мертвых не воскресишь...

— Полно ты пустое толковать... Вечно у тебя этакая мрачность в жизни проявляется!

— Пора утомониться... Потому все это ни к чему... Смотрю я хоть на нашу жизнь: что это? Так, одно представление идет. Все это мы волнуемся, кипятимся, грыземся, бога гневим, начальство утруждаем, все-то, все, что собаки перегрызлись... Себя губим, мучаем, народ гибнет... А что это все? — одно представление!

— Как представление? Господь с тобой! Серьезное общественное дело, общественный интерес, жизненный интерес каждого. Ведь мы все вздоху хотим, ведь нас давят, нам дышать не дают... Ведь мы только и хотим вздоху, согласия, мира.

— Представление! — повторил старичок и выпил, обстоятельно закусив, без приглаше-

ния рюмку водки.

— Да почему?

— Потому что все одно, всем нам погибеть.

— Откуда? Кто такой нас погубит?

— Фабрикант.

— Ну, ну!.. Поди ты!..

— И я, скупщик, погибну, и все наше население.

— Ну, пошел, пошел!.. Десять тысяч народу погибнет!

— Погибнет! Разве не видишь? Малый ребенок, что ли? Вот за тридцать верст от нас какая фабрика завелась, а?.. На тысячу человек, и все рабочие — новые, деревенские, свои... В нашем рабочем даже не нуждаются... Еще такая фабрика — и вот конец и мне, и тебе с городovým положением, и Петру Шалаеву с его политикой, и всем этим кустарям, всем одна расценка будет: ни дна ни крыши...

— Ну, ну!.. Ха-ха-ха! Эк хватил: десять тысяч народу погибнет! Да что у нас Садом-Гаморр[10], что ли? Отчего это нам погибнуть?

— Садом-Гаморр и есть, — упорствовал старичок, — потому мы рабы... рабы вот этой са-

мой вещи, вот этого замка... Потому ни я, скупщик, ни кустарь без этого замка или ножа ничего не стоим, ломаного гроша!.. Замок — тут нам и жизнь, и смерть... Без замка нам вздоху нет, из-за замка мы грыземся, лаем, бога забываем, друг друга предаем... Потому, кроме замка, ни в чем мы жизни не находим... Тут нам и гибель!.. Ты думаешь, вот теперь нас, скупщиков, травят почему? Да потому, что мы уж измору предначинаны, все одно. Кабы в нас будущая-то сила виделась, так ты думаешь, нас дозволили бы травить?

— Ну-у, оставь, оставь, сделай милость! Ведь вот, братец, всегда ты эту меланхолию заведешь... Он у нас умница, министр, сам из кустарей вышел, только вы ему не верьте, — уговаривал нас Валериан Петрович, — это одна меланхолия!.. Вы дайте нам только вздоху, дайте нам городское положение и тогда посмотрите, как мы процветем!.. Вот у нас денег сколько! С одной земли, с аренды, мы получаем тридцать тысяч в год (а говорят: мы хлопотами о земле убыток только принесли!). Посмотрите, мы училищ настроим, технических

заведений!.. Даже театр откроем-с... Слава богу, у нас народ есть!.. Посмотрите, какие у нас есть мастера-самоучки!.. Таланты, гении-с — гении, прямо сказать! А теперь у богатого класса сколько сынков в университетах! Все будут свои медики, адвокаты!.. Да нам такое будущее рисуется, что иной раз раздумаешься, так дух захватывает... И мы еще послужили бы! Так ли?.. Нам бы только вздоху... А эта меланхолия у него все от обиды... Другой раз и на меня этак как бы отчаяние находит... Хе-хе-хе!.. Мы со старухой против отчаяния крепки!..

— Так, конечно, — поддакивали мы охотно старику.

Долго еще мечтал Валериан Петрович о будущем блестящем процветании своей родины; целая масса проектов, стремившихся к установлению мира и согласия между всеми гражданами, так и сыпалась им: тут был проект и новых начал городского самоуправления, и городского банка, который бы снабжал богатых кредитом, чтобы они могли безостановочно и безобидно, не обижая и не утесняя, брать от рабочего народа изделия, и много

других наивных вещей.

Вообще он окончательно страхнул с себя всякое уныние, ожил, и только его приятель все меланхолически качал головой.

Наконец мы распростились со стариком.

— Похлопочите за нас где можно, похлопочите, — сказал он мне, прощаясь. — Ведь десять тысяч рабочего населения, хороших, добрых, трудящихся людей — не шутка! Нельзя же, господа, так отдавать на поругание... Пишите, говорите, и, бог даст, все устроится к лучшему! Так ли?

— Так, так... Вот это прежде всего! — сказал молодой Полянкин. — Вера, Валериан Петрович, вера в людей прежде всего!

— Да, да!

— Пропала у нас вера в человеческое сознание, вот в чем дело! — говорил Полянкин. — Все от этого...

— Да, да! — подтверждал Струков, но он, по-видимому, или не ясно понимал, что говорил Полянкин, или же плохо доверял этому «человеческому сознанию».

— Да, потеряли веру в человеческое сознание, — повторял Полянкин, когда мы ушли от

старика. — Мы во все верим: верим в силу закона, в силу городского положения, в силу рынка, фабриканта, в силу исправника, адвоката, прокурора и — никогда, никогда в силу обыкновенного, простого человеческого сознания.

— Да как же ты в него поверишь после всего, что видишь? — спросил раздраженно Попов. — Это изумительно!..

— Ну, мы с тобой в этом никогда не сойдемся...

IV

Приятели продолжали, по обыкновению, пререкаться, когда мы вышли на другую часть окраины и остановились у старенького двухоконного домика с палисадником. Это был дом кустика Ножовкина, одного из тех самоучек-гениев местного мастерства, о которых говорил Струков. На дворике нас встретила целая куча ребятишек самого малого калибра, а в дверях «передней» еще не старая, худая женщина, с ребенком на руках, тотчас же сконфузившаяся и растерявшаяся.

— Что, дома ваш-то супруг? — спросил Полянкин, здороваясь с хозяйкой.

— Дома, работает, в заднюю проходите.

— В праздник-то работает?

— Он уж всегда такой у нас... прилежный к своему делу... Разве вы не знаете?

— Как не знать!

Мы прошли в заднюю, занятую мастерской. Здесь, за станком, в рубашке, засунутой по-городскому в брюки, с засученными руками, в фартуке, работал человек чрезвычайно высокого роста, рыжий, бритый и совер-

шенно худой, с ввалившейся грудью, сутуловатый, в очках, с костистыми скулами на худом, темном от железной пыли лице. Это и был Ножовкин, хмурый, солидный и малоразговорчивый, но, видимо, натура выдержанная и стойкая. В особенности об этом говорили его костлявые, худые, но твердые, цепкие руки.

— А, Перепелочка, и ты здесь? — крикнул весело Полянкин, здороваясь с сидевшим сбоку станка около Ножовкина его постоянным другом, тоже кустарем. Белокурый, коренастый, среднего роста, в узком и коротком пиджаке, в карманы которого он постоянно силился затискать свои толстые руки, с веселым, постоянно добродушным лицом, Перепелочка, или, вернее, Иван Иванович Перепелочкин, холостяк, живший только с старушкой девицей сестрой да с сиротами от брата, был, очевидно, натурой совсем другого с Ножовкиным разбора. Кроме них, в мастерской была еще личность, в черном сюртуке, среднего роста, лет тридцати: это, как оказалось, был хозяин небольшой канатной фабрики, оставшейся ему от отца (таких разнообраз-

ных маленьких фабричек в «городе рабочих» есть несколько по различным отраслям).

— Что это вы, Прохор Прохорович? Пора вам бросить эту повадку... в праздник работать. Ведь другим глаза мозолите, а ведь уж все вы, кажется, и то немало работаете, — сказал Ножовкину Полянкин.

— Да что делать? Нечего делать. По трактирам я не хожу... Читать — да все перечитал, что было, а беседовать и так можно... Думаем опять газетину выписать, да вот фабрикант у меня скупится... А одному мне не осилить...

— Надо в складчину, Прохор Прохорович, иначе, ей-богу, не могу... Вдвоем нам не осилить. Надо человек пятых...

— Найдешь у нас пяток, держи карман!

— А я, ей-богу, не могу! Что делать! — говорил фабрикант, весь покрасневший, как маков цвет.

— А еще фабрикант, — как-то тяжеловесно шутил Ножовкин.

— Какой я фабрикант!.. Что вы?.. Только слава.

— Такой фабрикант — умора! — смеялся Перепелочкин, качаясь из стороны в сторону

всем туловищем. — Ну-ка, покажи ручки-то свои.

Фабрикантик вспыхнул и тотчас же спря-тал руки, но я успел заметить, что пальцы у него на обеих руках были сведены и покрыты какими-то наростами. Оказалось, что он, вместе с отцом, сам вил веревки.

Приятели еще долго продолжали шутить, пока наконец не подошли к интересовавшему меня делу. Ножовкин был одним из самых горячих приверженцев большой кустарной артели, основанной здесь около десяти лет назад при содействии петербургских интеллигентных и влиятельных лиц. По идее, это было прекрасное и грандиозное предприятие, долженствовавшее связать в одну плотную, дружную организацию всех местных кустарей-рабочих устройством самостоятельных складов для сбыта изделий, минуя посредство скупщиков. Говорят, это было самое оживленное время для «города рабочих». Большинство населения, не говоря уже о лицах, так искренно и беззаветно преданных делу артели, как Ножовкин, жило самым радужным ожиданием; они были уверены в громадной эконо-

номической выгоде для кустарей от такого предприятия; в главных центрах России были устроены артелью собственные склады, по стогнам и весям[11] ходили всюду свои, артельные, ходебщики; выхлопотана была на операции по первому обороту субсидия. Но дело, по прошествии нескольких, очень немногих лет, стало быстро чахнуть и еще быстрее угасло совсем, оставив после себя какой-то чад и угар, надолго отуманивший головы и набросивший подозрение на самую сущность испорченного дела. Тем интереснее было узнать мнение обо всем этом деле такого человека, как Ножовкин.

Но только что заговорили об артели, как Ножовкин насупился, замолчал и, отвернувшись к станку, стал работать. Зато вместо него, тотчас же близко принял к сердцу это дело Перепелочкин.

— Вот дело было!.. Ах!.. Малина дело — одно слово!.. То есть такое дело, что, кажись, нашему благополучию и конца-краю видать не было!.. Только бы, братец, тогда живи себе да поживай по-божьи, честно, благородно.

— А вот не пошло, — заметил Попов, — не

пошла машина-то, не принялась.

— Не пошла, верно, не принялась, братец! Вот те и поди... И бог ее знает отчего! А уж такое дело... Просвет, кажись, на всю жизнь увидали.

— Не учась, ничего не сделаешь, — проговорил Попов, — и верно говорят, что все лопнуло от неуменья, от лености, что народ привык только работать на других, что он не может вести свое дело, не может поддержать настоящий контроль, нет ни выдержки, ни стойкости... Оказывается, что для народа скупщик необходим, что он без него двинуться не может, пропадет, потому что скупщик — естественный, бывалый, знающий посредник между кустарем и рынком.

— Кто это говорит? — отрывочно спросил Ножовкин.

— Говорит Струков, говорят другие...

— Струков! Миндальничает он, Струков-то ваш... Пора бы ему бросить конфетничать-то... Или еще все ему мало науки-то, все нейдет... Пора бы ему глаза-то продрать на мир божий...

— Однако вот артели-то нет, — заметил По-

пов, — горячитесь — не горячитесь.

— Не-ет! Конечно, нет, когда лучший народ раскидают: одного сюда, другого туда... Конечно, нет! Ведь живые люди... нынче одного выдернуть, завтра другого... Жизнь проще, чем вы думаете... Тут разгадка простая.

— Это так, Прохор Прохорыч; только вот я посторонний человек, а видел у нас недостатки с первого же разу, — заметил фабрикант.

— Ну-у? — крикнул на него Ножовкин. Фабрикант сконфузился и замолчал.

— Ну, какие же? Говори, что ж ты замолчал?

— Да ведь я, может быть, ошибаюсь. Я не хочу выдавать свое мнение за верное.

— А ты говори, коли начал.

— Я так думаю — оттого, что уж в самом начале в народе веры не было.

— Какой еще веры? Разве не для всех выгода видимая была? Что наш народ-то, в самом деле, без мозгов, что ли, родится, чтобы своей выгоды не понимать? Что, вы со Струковым-то совсем с ума спятили? Опекунов все хотите к нам приставить? Мало их еще бы-

ло!.. Плохо опекают?.. Ишь ты, народ сам ложку мимо рта будет проносить!.. Юродивенький!.. Выгоды, вишь, своей не поймет!

Ножовкин горячился.

— Это так, Прохор Прохорыч, — несмело и краснея говорил фабрикантик, — а только что... как вам сказать?.. тут что-то есть...

— Есть, есть что-то, Прохор, и я скажу: есть, — заметил Перепелочка. — Кабы не было, ну как бы такому важному делу пропасть?

— Так говорите, что есть-то! — крикнул опять сердито Ножовкин.

— А вот... Эта самая, может, выгода-то, — заключил фабрикантик, — все выгода да выгода... Только одна выгода... Ну, всякий и мыслит только о том, где выгоднее.

— Ну?

— Ну вот, разве у нас не сначала же дело так выходило, что пока у вас дела при деньгах шли хорошо, к вам шли, а тут как на месяц позамялось, — глянь, ан ваш артельщик же половину товара потихоньку и спер скупщику; потому у вас еще жди, а он тут же на дюжину пятачок накинул... Что ж, так и рассуждает: выгоднее!

— Ну?

— Ну, вот тут и все: коли во всем только выгода, так того уж и смотрят.

— Мало ли мошенников есть на свете!

— Да нет, при чем мошенники? Мошенники — это особая статья... А тут так, простой человек так мыслил...

— Верно, верно, Проша, бога люди не видали при деле, — сказал Перепелочкин.

— Еще бы бога увидеть, коли всех хороших людей рассовали, а мошенников наставили! Они и разграбили все дочиста! А тут, брат, особой какой выгоды понимать нечего. Она у всех на виду... Нам нужно взять рынок в руки, чтобы не быть в кабале... Без этого нам смерть... Что тут понимать? Какие хитрости? Есть умеет всякий!

— Так-то так, а вот возьми его, рынок-то, — говорил Попов.

Ножовкин заворчал, как медведь в берлоге, окруженный рогатинами, и начал сверлить, тяжело и, видимо, в сильном раздражении сопя носом.

— Вот что, Прохор Прохорыч, и мне кажется, что Перепелочка прав, — заметил Полян-

кин. — Именно в деле народ бога не видел, то есть, по-моему, это значит, что все дело было поставлено на одну узкую, экономическую почву... Что оно не захватывало, так сказать, всю личность целиком, гармонически, не отвечало ей во всей совокупности... Так ли?

— Так, так, верно: бога не было при деле! — твердил Перепелочка, понявший из слов Полянкина, кажется, только одно, что он встал на его сторону.

— Мне кажется, что именно в деле выдвигалась вперед исключительно выгода, экономический расчет лежал главной основой... Так ли? Все прочие стремления, условия и тому подобное не связывались в одну простую, ясную и понятную для всех систему... Так ли?

— Так, так! — кричал Перепелочка. — Верно!.. Веры в деле мало было спервоначала уж, потому всякий и раньше говорил, где нам торговать, разве нам в этом деле за скупщиком угнаться? Тут, брат, тоже качества-то эти в себе надо произвести!

— Рынок бы нам, вот! — продолжал упорно ворчать Ножовкин. — Без рынка нам смерть.

— А вот возьми поди его, рынок-то! — мекфистофельствовал Попов.

— Кабы те, что о любви к народу расписывали, в самом деле хотели дело делать, не бойсь, сделали бы... А то одной рукой посулов насулят, а другой разделявать начнут, — уже совсем сердито проговорил Ножовкин.

Между приятелями разговор велся еще долго, но как поправить дело и чем, так и не могли прийти к соглашению. В конце концов оказывалось, что жизнь — дело не такое простое, как многим думалось. Мало выяснились и основные пружины, погубившие дело артели, хотя, конечно, Ножовкин был прав, что в этом деле большую роль играли интриги богачей скупщиков и прямое насилие сельских воротил.

— Ну, видели, каковы у нас дела-то? Красивы? — спросил меня Попов, когда мы шли от Ножовкина.

— Да, дела не хороши.

— Что дела! Дела — дело поправимое... А люди-то какие у нас есть, люди-то? Разве плохи? — перебил молодой Полянкин, заглядывая мне в лицо.

— Да, люди хороши.

И мы невольно все улыбнулись на этот совершенно неожиданно сказавшийся грустный каламбур.

Признаться сказать, в конце нашего путешествия я начинал чувствовать себя все более и более удрученным. Это однообразие и какая-то жуткость «общественного интереса» просто подавляли собой. Как-никак, все виденные мною личности, за исключением старика Полянкина, были, что называется, уже «тронутые рефлексией», слишком с определившимися взглядами на сложные житейские отношения, — взглядами, кроме того, в значительной степени уже невольно заимствованными из другой среды. Ножовкин еще мальчиком был отдан в Москву и воротился к себе домой только после смерти отца; он был хотя и самоучка, но не только грамотен, а по-своему и образован, благодаря своим московским знакомствам. Сам Струков в течение своей долгой карьеры народного ходока так часто вступал в сношения с людьми другой среды, и притом так упорно, настойчиво вращался в исключительной сфере юридических вопросов, что все это, конечно, наложило на него сильно свою печать. Притом все это бы-

ли личности исключительные, более или менее, так сказать, «умственные аристократы». Мне хотелось уйти куда-нибудь от всех этих напряженных вопросов к самым простым, обыкновенным людям, обыкновенным житейским отношениям, тем более что «умная» беседа умных людей только поставила для меня целую бездну удручающих вопросов, которую, однако, ни я, ни они не могли разъяснить удовлетворительным образом или, по крайней мере, прийти на их счет к соглашению: все они были, несомненно, правы и в то же время у каждого из них чего-то не хватало.

Я выбрал наконец удобную минутку, чтобы ускользнуть от своих спутников, этих «вечных спорщиков» и вечно же, однако, неразлучных. Я спустился с крутизны береговой горы к реке и здесь сел на одном из бесчисленных плотов, тянувшихся вдоль берега.

Здесь, в виду игравшей яркими солнечными лучами спокойной реки, я почувствовал, как меня что-то сразу высвободило из какой-то узкой, удручающей клетки на простор, где так свободно стало дышаться. На плотам там и здесь стояли и сидели девочки и маль-

чики различных возрастов, все с величайшим удовольствием и вниманием занятые рыбной ловлей.

Я подсел к одной такой группе из троих подростков, из которых старшему было уже лет пятнадцать, но все они были низкорослы, худы, с зеленовато-землистыми лицами, с которых, казалось, никогда не сходила железная и наждаковая пыль.

— Хорошо ловится? — спросил я.

— Да, у нас хорошо ловится... Только теперь вот к полудню хуже.

— Вы, что же, по воскресеньям только и ловите рыбу?

— Да. Больше нечего делать.

— А гулянья у вас бывают?

— Нет, у нас гулянья нет... Порой вот разве в орлянку соберутся.

— А хороводов нет? И посиделок?

— Нет. У нас этих заведений нет, — улыбнулся парень, — у нас насчет этого строго, не то что в деревнях... Так вот, порой, пройдут стайей по закоулкам — и все.

— Ведь эдак скучно...

— Скучно.

— А читали вы книги какие-нибудь?

— Нет, у нас книг брать негде. У нас это не в заведение. У купцов разве есть да кое у кого из мастеров... А у нас книг нет да и грамотных мало... Неколи... Вот разве певчих когда послушать сходишь в церковь.

— А на сходках не бываете?

— Нет. Что нам! Это большаки ходят.

— А вот артель была у вас... Знаешь ты?

— Слышал.

— Что же ты слышал?

— Слышал, говорили, что будто товар будем в склады сдавать.

— Что ж, это лучше?

— Говорили, лучше... Не знаем...

— А теперь ее нет?

— Должно, нет.

— Да ведь ты уж взрослый. Тебе нужно бы знать...

Мальчик молчал.

— А вы много работаете?

— Много. Встаем с огнем и ложимся с огнем.

— Кто же вас так много заставляет работать? Ведь вы не на фабрике.

Мальчик улыбнулся.

— Отцы, матери.

— А им что за охота? Ведь они же на своей воле живут?

— Мы мастера, — ответил мальчик посмелее. — Разве не знаешь павловских замошников? Это вот замошник, а это — ножовщик, это вот — личильщик.

Мальчики засмеялись.

Этот ответ им очень, видимо, понравился: как будто вдруг он им что-то открыл, совершенно новое. Им забавно было то, что все они, конечно, знали, что один из них — личильщик, другой — замочник, а между тем как будто только теперь об этом узнали, то есть узнали собственно, в чем их право на жизнь. Ведь об этом они раньше никогда не думали. А это вдруг так оказалось просто.

— Ты, должно, не здешний?

— Нет.

— То-то! — счел уже своим долгом один даже как будто упрекнуть меня в этом незнании.

Я видел много крестьянских детей, и нигде и никогда не поражали они меня такой ото-

рванностью от жизни, — по крайней мере, от окружающей их жизни, — как здесь. В деревне как-никак ребенок стоит всегда в центре своей жизни, и когда он входит в нее взрослым членом, ему уже известны все уставы, весь смысл, все содержание этой жизни, вся сумма взаимных отношений между членами. А здесь? О, как далеки, недосыгаемо далеки от этой живой жизни показались мне наши «мучительные» и, «проклятые вопросы», наши мудреные интересы и разговоры, так терзавшие нас своей нерешимостью! Как недосыгаемо далеки от этих окружавших меня юных жизней даже такие «свойские мудрецы», как Струков и Ножовкин, и даже молодой Полянкин! Да не потому ли и терзаемся мы безвыходностью решения этих проклятых вопросов, что живем и мучаемся где-то там, в стороне от живой жизни, наверху ее, и оттуда думаем снизвести благодать, а не прямо, непосредственно вызвать ее из этой живой жизни?

— Хотите, я с вами буду говорить о небе, о земле, о людях, — сказал я моим собеседникам.

Нужно было вообразить странное изумление и даже испуг, недоумение, какое выразилось на их лицах. Потом они все переглянулись и засмеялись.

— Вам говорил кто-нибудь об этом? — Нет.

— А отцы?

— И отцы не говорят... Когда им!

— Ну, давайте, я вам буду рассказывать.

И все опять остановили на мне широко открытые глаза, изумленные, и улыбались (так это им казалось дико!), и я улыбался, потому что и мне казалось это так непривычным, диким, нелепым... Как это вдруг взять и начать говорить с детьми, так, без школы, без учебника, не будучи «призванным» педагогом, учителем? И имею ли право поверить им «великие истины», которые так мудрены, что сами мы добрались до них путем невероятных мытарств, да и то еще не сойдемся ни на одной безусловно? Все это мелькало у меня в голове. Но я утешил себя, что ведь «это не больше как шутка, нельзя же придавать этому какого-нибудь серьезного значения!». И конечно, это оказалось не больше как шуткой. Стало бы я говорить, но у меня путался язык, я не

умел приискать выражений; для выражения самой простой мысли не оказалось в нашем лексиконе таких же простых слов, варварская терминология исключала почти всякое общение человека с человеком. А помимо всего стало скучно. Что из того, что в две-три ребячьи головы я заброшу какую-нибудь мысль, шевельну воображение? Ведь это такие пустяки, как лишняя капля, упавшая в море. Но так ли это? Не потому ли и трудно решаются сложные вопросы человеческой жизни, что эти решения односторонни, что они никогда не брали всю человеческую личность целиком, не оставляя без одинакового внимания ни одного малейшего ее стремления и желания, не отвечали всей человеческой душе разом, гармонически? Но как это сделать? — спросят.

«Надо думать, надо искать средств, но не предрешать вперед, что это невозможно», — припомнились мне слова молодого Полянкина; мне думалось, что он близок к истине уже потому, что близок к самой жизни.

Я продолжал еще «шутить» с детьми, рассказывая им первое, что попадало на язык,

когда я заметил, что за нами давно уже внимательно следит какой-то мастеровой, в стареньком камлотовом кафтане и фуражке, сидя на корточках на самом краю плота и низко опустив голову к коленам. Он, казалось, не подавая вида, напряженно слушал нас одним ухом. Когда он заметил, что я пристально наблюдаю за ним, он поднялся и робко, тихо подошел ко мне, молча снял фуражку и улыбнулся. Это был худой, с маленьким, морщинистым, безбородым лицом рабочий, лет тридцати.

— Ребятки-то повеселели, — сказал он мне, показывая играющими глазами на детей. — Славно!.. Хорошо!.. Так душа-то у них и заиграла...

Я тоже улыбнулся на его наивное довольство.

— Вы не здешний, должно?

— Нет, не здешний.

— Славно! Хорошо! — опять как-то умиляясь, протянул он и плавно замахал руками, как крыльями, — а ведь всего только так... словечко... одно словечко... от сердца глубины... А вон уж он и окрылел!

— А вы... тоже не здешний? — спросил я.

— Нет. Я верст за тридцать отсюда, с фабрики...

— По той же части?

— По той же — ножовщики.

— Что же, у вас лучше на фабрике, чем здесь?

— У нас, может, получше кому ни то, потому мы еще при земле... Жены с ребятишками при земле, а мы на фабрике... Ну, все же хозяйство...

— И у тебя есть хозяйствб?

— Есть. Мы четверо живем... вместе.

— Братья?

— Да, братья... Только не родные.

— Все?

— Все.

— И все женаты?

— Все, и дети у всех.

— И сообща все ведете?

— Все сообща... Мы мирно.

— Как же это вы так сошлись?

— Сошлись-то? — переспросил он, как-то странно блуждая глазами, как будто все эти мои вопросы очень мало интересовали его, а

мысль его была поглощена чем-то другим.

— Как же вы сошлись? — повторил я опять.

— Сошлись-то? А просто... Вот так же... Я был старший из всех... Бывало, вот эдак же... слово... от сердца глубины... С тем, с другим... Вдумчив я в жизнь-то был... сызмладости... Люблю... Ну, и они меня полюбили... Так и живем... Так, сами по себе сжились...

Он помолчал.

— А много таких-то! Сколь много! Он вздохнул и покачал головой.

— Что же им мешает всем так же соединиться, сжиться?

Он посмотрел на меня долго, внимательно, потом задумчиво сказал:

— От страха.

— Перед чем же?

— От жисти запужаны... А напрасно... Только бы... одно слово... от сердца глубины... всем бы... И окрылеют!.. И... хорошо! Славно!

И он опять замахал плавно руками. Но вдруг глаза у него замигали чаще и чаще, сверкнули в них слезы. Он как-то стыдливо улыбнулся, сконфузился и, натянув на лицо

разорванный козырек фуражки, быстро зашагал от нас, но не к берегу, а по плотам, перепрыгивая от одного на другой и все ускоряя шаги, как будто боялся, что мы пустимся за ним вдогонку. Я не мог оторвать от него глаз, пока наконец он не присел опять на самом дальнем от нас плоту, около такой же кучки юных рыболовов. Появление этого странного человека, так совпавшее с моими размышлениями, до такой степени было неожиданно и поразительно, что образ его навсегда запечатлелся в моей памяти. Более чем когда-нибудь мне хотелось остаться с глазу на глаз и поговорить «от сердца глубины» с самыми простыми, невидными людьми.

VI

Я пошел к старику Полянкину в надежде застать его одного дома. Мне так хотелось послушать попросту этого самого обыкновенного старожилородного кустаря. Действительно, мои молодые спутники еще не приходили, но у Полянкина я застал гостя, который, впрочем, при моем приходе тотчас же встал из-за стола, с самоваром и закуской, и стал молиться.

Гость пытливо обвел меня глазами и вышел.

— Это приятель у вас был, Павел Миронич? — спросил я.

— Какой приятель! Так, из своих, сосед.

— А мне показалось, дружны вы.

— Ноне со всяким будешь дружен; еще со врагом-то повадливее ведешь себя, чем с приятелем... Ноне беда...

— Он кто же, кустарь, как и вы?

— Мастер, как и мы! Только что у него заведеннице просторнее... Теперь уж человек десятка на полтора распространился.

— Вот как!

— У нас ведь теперь много таких: у кого на пять человек, на десять, на сорок есть... Всякие!

— Он у вас покупать приходил что-то?

— Да. Уговаривал, вишь, сдай ему товар, что я наработал, вместо чтобы на рынок нести.

— Так он и скупщик?

— Мало ли у нас их! Да признаться, не люблю я его... Из шалаевских молодцов... Горлопан, мироед, везде это шныряет да нюхает... Такой лёза — беда!.. Только спаси бог!.. Вот тебя заприметил, — уж что ни то наплетет... Без этого уж не отстанет!.. Ах, бедовская стала жизнь!.. Без бога, брат, совсем стала жизнь... Эх, приустал! — вздохнул старик, сядя на стул. — Присядь... Вот утром-то к обедне ходил, а потом все вот товар подбирал... Вишь, какая куча! Надо приготовить.

— Куда же?

— Как же! Ведь у нас уж заведение такое: с воскресенья на понедельник у нас торжище... Торжище, друг любезный!.. Вот поглядел бы, какая травля-то идет!.. Господи боже мой! Проснется это все село в ночь, часа в два, огни

езде зажгут... Там наверху (у богатеев) тоже все из пуховиков-то повылезут: и хозяева, и приказчики. Ключами загремят, медяками. Наш брат отовсюду к рынку потащит связки с образцами, что, значит, успел за неделю с семьей наработать. Ну, тут уж вся надежда: сбыл — сыт на неделю и материал на работу получил; не сбыл — так вместе с ребяташками в петлю и полезай... Никто и внимания не обратит!.. Вот оно у нас какое торжище-то!.. Не то, что все наши богатеи, — с округи все скупщики наедут, и жида, и наши, всякие проходимцы: божба пойдет, ругань, мастеровой другой плачет, молит, за третьим жена с ребенком следит, как бы с деньгами в трактир не убежал... Что делается в эти часы — сказать нельзя!.. Так-то вот наш пот да кровь и продаются.

— Как же это у вас такое хорошее дело не удалось, артель-то?

— Артель-то? Хорошее оно дело, да тоже затейное...

— Отчего же так?

— Да оттого и есть... Артель там хороша, где народ весь ровня — вся артель. А то какая

же у нас для всех артель? Вон сосед-то: он и кустарь сам, и скупщик... Ну, какого ему ляду в артели-то? Какой антирес? Артель прямо ему в оборотах препятствует... А бедного возмешь: опять тоже ни к чему, — ему не выстоять, выждать он не может... Ему вон ноне ребятишкам и маслица ложечку надо, и крупки горсточку, и капустки... Он и бежит к скупщику: тот его и снабжает, и сыт он с ребятишками-то на нонешний день... Где это артель-то их всех прокармливать будет? Артель скажет, что я не богадельня... Так-то, друг!.. Пойдем-ка мы с тобой в садочек! Важно у меня в садочке-то. Только одна и утеха, да вот коровенкой кое-как раздобылся. Это уж вон Павел помог... А то где бы!.. У нас ведь хозяйство редко у кого есть... Да ведь оно хорошо при земле... А у нас все-то, все до маковой росинки купи... А от земли — бог ее ведает — с коих пор и кем отбиты!.. Еще прадедов наших замок обошел!.. Поди-ка, как мы своим мастерством тоже гордимся!

Мы вошли в сад, и старик развалился на траве.

— Любо, братец, здесь, важно! — заговорил

он, смотря в небо. — Другой это раз выйдешь сюда, ляжешь на траву и думаешь: эх, кабы все-то на свете жили в дружбе да в любви!.. Семейственную жизнь вели бы чинно-благородно... общественные какие дела — опять же чинно-благородно, по согласу, по миру, чтобы было насчет каждого беспокойство и помощь в случае чего. Вот как, говорят, по старине люди живали. Так ли?

— Навряд, говорят, так было.

— Ой ли? Да ведь откуда ж ни то взялось эндакое помышление? Только ежели нам этого ждать — уж не дожждаться. То есть так народ, братец, развихлялся! Тут бы тебе мир, соглас, — кажись бы, ничего для энто-го не пожалел, — а между тем никак невозможно! Вой — и шабаш! Да еще с кем и воевать-то — ребятишкам и маслица ложечку надо, и крупки, и то не разберешь хорошенько. Вот хоть бы наше дело взять — замок; думаешь, кому какая причина тебя в этом твоём ремесле обижать, а вместо того, слышь, англичанин тебе в карман, как тут, значит и насолил!.. Вишь ты, куда хватило: англичанин! Англичанин там себе форсы разные придумывает, а

ты голодай... воюй с ним!.. Нет, уж так думаю, нам этого мирного житья не видать.

Мы еще долго промечтали со стариком с глазу на глаз в его «садочке». И самый этот садочек, и его «разные запахи», и «от сердца глубины» слова этого старого кустаря как-то врачующе действовали на мою душу: мало они разрешили моему уму, но я чувствовал, что для сердца тут было разрешено все.

VII

Наутро мне хотелось непременно побывать на «торжище», но я проспал самым безбожным образом, к своему стыду. Когда я проснулся, вся операция торжища была уже закончена давно, а вся семья хозяина работала в мастерской. Я было посетовал на старика, что он меня не разбудил, но он сурово на меня прикрикнул:

— Ну, чего тебе там смотреть? Как люди друг друга грабят? Нашел потеху!

Старик был сильно не в духе и уже ни одним словом не подавал надежды на возвращение к нему вчерашнего благодушного настроения. Товар ему пришлось сбыть самым невыгодным образом, на целую четверть цены меньше, чем давал ему сосед-кулак. Но он к нему все-таки не понес.

Я собирался к вечеру уезжать и до отъезда хотел зайти к одному фабриканту, по одному поручению. Сам фабрикант в селе не жил, но имел дома и склады. Его ждали в воскресенье, накануне торжища.

Я пришел к нему часов в 10 утра и застал

его еще при делах. Это был человек средних лет, один из сыновей старого фабриканта. Он, видимо, не спал всю ночь: лицо и глаза были утомлены.

— Вот, еще не ложился, — сказал он.

— Да вам-то что же? Разве вы скупщик?

— Ка-ак же! Мы и свои делаем, и скупаем...

Мы стягиваем в свои склады всевозможные изделия. Нам нужно, чтобы покупатель у нас находил все. Тогда мы не будем бояться конкурентов. Имея возможность взять у нас товар всевозможных образцов, зараз, в одном месте, без лишних хлопот, притом имея от нас, конечно, скидку и кредит, покупатель нас держится так, что его не отобьет никто.

— Вы не живете сами здесь? — Нет.

— Отчего же вы не примете участия в здешних общественных делах? Вы — большая сила и помогли бы им распутаться...

— Пустое это дело-с!.. Так это у них промеж себя забава до поры до времени, всякие там артели, городовые положения, банки... Все это пустое.

— Отчего же?

— Да оттого-с, что не прочно все это-с, меч-

та!.. Нет, мы в стороне, не принимаем участия. Притом у нас дела большие-с; у нас у самих до тысячи человек в руках-то... Надо их управить-с!

И каким суровым холодом веяло от его слов!..

VIII

Вечером я собрался было ехать, но молодой Полянкин удержал меня, сказав, что завтра праздник и что мы можем веселее проехаться по реке, чем теперь.

Я остался, и наутро неожиданно сделался свидетелем необычайного происшествия. После обедни, часов около одиннадцати, я увидел, как от всех церквей шли крестные ходы, направляясь к площади. К хоругвям[12], иконам и духовенству постоянно приставали выходившие из домов обыватели. Оказалось, что это шли служить благодарственный молебен и вместе поднести адрес за полезную деятельность Петру Шалаеву от беднейшей части обывателей-рабочих. Гляжу, сердито, спешно и порывисто застегивая ворот кафтана под бородой, торопится из своего дома и старик Полянкин.

— Эй, сосед! Не видишь, что ли? Прошли уж, — стукнул к нему в окно знакомый нам скупщик.

— Иду! — крикнул старик и, сильно стукнув дверь, вышел.

IX

После обеда мы спустились к речке, к лодке. Молодой Полянкин все посматривал по сторонам, чего-то дожидаясь, но не дождался, и мы поехали.

— Ну, говорите ваше непосредственное впечатление, прямо, без всяких предисловий, — спросил он меня, — как вам наш город?

— Ваш город — заколдованный город, в заколдованном круге, и я не вижу даже проводника, который бы вывел из него.

Полянкин ничего не сказал и молча стал смотреть вдаль. Попов был еще сумрачнее, чем в первый раз.

— Эх, господа, — сказал наконец молодой Полянкин, — не верите в человеческое сознание... Повторяю, веру вы в это потеряли... А уж в это веру потерять — последнее дело. Поэтому что без веры в него — что же после этого человек?

— Я опять тебе повторяю: легко говорить, — заметил было Попов. — Какое тут сознание, когда...

— Знаю, знаю! — перебил Полянкин. — Смотрите не назад, а вперед — и вот вам и вера!.. Впрочем, ее не передашь... Она вот здесь, в этих мускулах, в жилах... Если одрябли, отжили они у тебя, так зато у меня только еще наливаются!.. А вон и наши!

От берега к нам тяжело направлялась другая лодка, в которой сидело человек пять молодых рабочих, брат и дядя Полянкина и двое подростков с разными рыболовными снастями.

— Вот и важно, братцы! Дружнее, вперегонку! Валяй, Пров, «Вниз по Волге».

Мы обогнули гористый мыс, и молодой, сильный тенор затянул песню. Под незамысловатый, но подмывающий и захватывающий мотив этой родной песни, так привольно разносившийся над тихой рекой, в моем воображении, один за другим, вставала целая вереница знакомых образов, всех этих «хороших людей», томившихся и мучившихся в невыразимо сложной сети, когда-либо прежде так хитро сотканной для них жизнью. Но тем не менее, больше чем когда-нибудь, мне думалось, что молодой Полянкин был

прав: где есть живые люди, там будет и жизнь.

Примечания

Впервые — в журнале «Русская мысль». 1885. № 7. Включался во все собрания сочинений Н. Н. Златовратского. В советский период переиздавался в книге: Русские очерки: В 3 т. М.: Гослитиздат. Т. 3. 1956.

Текст печатается по изданию: Златовратский Н. Н. Собрание сочинений. Спб., 1912. Т. 7.

[^^^]

Дощаник — речное плоскодонное судно с палубой или полупалубой, род большой гребной лодки, а иногда и парусной, для переправы, для перевоза тяжелых грузов.

[^^^]

Вечевой город — город, где высшим органом власти было народное собрание — вече. Вечевое управление существовало в некоторых городах Древней Руси в X–XI вв. (Новгород, Псков и др.). Здесь имеется в виду общинное управление «города рабочих».

[^^^]

...с обычным крестьянским самоуправлением... — по «Положениям» 19 февраля 1861 года сельское общество (одно село и прилегающие земли) являлось самоуправляющейся административной единицей, а несколько смежных сельских обществ составляли более крупную самоуправляющуюся административную единицу — волость.

[^^^]

Патья — местное название беднейшей части села и вместе самого бедного, бесхозяйного пролетария, не имеющего своих мастерских.

[^^^]

Драпри (франц.) — оконная и дверная портьера.

[^^^]

Антре (франц.) — ВХОД.

[^^^]

Клирос — место для певчих в церкви.

[^^^]

Кадило — металлический сосуд на цепочке, в котором во время богослужения курятся ароматические вещества на раскаленных углях.

[^^^]

Да что у нас Содом-Гоморр... — согласно библейской легенде, палестинские города Содом и Гоморра были уничтожены землетрясением и огненным дождем, которые бог обрушил на них за крайнюю развращенность жителей. В переносном смысле — беспорядок, хаос, шум.

[^^^]

...по стогнам и весям... — по городам (площадям) и селам.

[^^^]

Хоругвь — полотнище на длинном древке с изображением Христа или святых, церковное знамя во время крестных ходов и других шествий.

[^^^]